

*Наиллю Еникееву и всем друзьям моей бакинской молодости*

*«Почему у вас часы растекаются? — спрашивают меня. — Но суть не в том, что они растекаются! Суть в том, что мои часы показывают точное время».*

Сальвадор Дали

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### Глава 1

#### 1

— С каких слов начинаются «Двенадцать стульев»? — спросил я, считавший себя знатоком романа и потому присвоивший себе право экзаменовывать всех и каждого на его знание.

Мне было двадцать два, я был невероятно самоуверен и — подобно подавляющему большинству молодых нахалов — страдал от завышенных самооценок.

— А с каких слов начинается двадцатый Сонет Шекспира? — последовал немедленный ответ, и я, уже успевший на отлично сдать экзамен по зарубежной литературе, почувствовал себя крайне неудобно.

Сонет был мне неизвестен, и вообще к подобным вопросам я не привык, относя их к сфере собственных прерогатив, а то, что мне моим же оружием дала сдачи девчонка, уже больше походило на позор.

Девчонку звали Анаит.

Я даже ухитрился уронить нож, дабы был повод залезть под стол и оценить ее ноги, которые оказались очень даже приличными, и уже этого было достаточно, чтобы ангажировать их на твист.

Назвать ее красавицей» я бы не рискнул. Точнее была бы цитата из Фаины Раневской: — «Я никогда не была красива, но всегда была чертовски мила».

Она была действительно мила, притом чертовски. Большие выразительные глаза, цвет которых составлял резкий контраст

матовой коже, столь распространенной на юге с характерным для него смещением кровей, светились некоей недосказанностью, будто бы она задалась целью оставаться для окружающих не совсем понятной. Тонкие, но вместе с тем чувственные губы были изящного волнистого рисунка и вместе с острым подбородком образовывали на редкость изысканный ансамбль, и казалось, ей не хватало только шляпки с вуалью, чтобы сойти с рекламы польских духов «Быть может...», от которых с ума сходили в ту пору все женщины. И вообще вся она светилась некоей экзотичностью, будто была обительницей затерянного в океане острова, чудом оказавшаяся среди стандартных акселератов конца шестидесятых, грезивших «Битлзом», твистом, КВНом и джинсами. Но больше всего в ней поражала почти достигавшая талии коса. И даже не столько сама коса, сколько то, что ее не срезали, как давно сделали все мои знакомые девчонки, а напротив носили с подчеркнутым вызовом, как драгоценный паритет.

— Ну, забыли, а может, не знаете? — спросила Анаит, одновременно не позволяя мне войти в танце в контакт больший, чем позволяли действовавшие тогда правила приличия.

Она пришла на вечеринку, заручившись прикрытием, сказав родителям, что будет ночевать у подруги. Об этом мне стало, конечно, известно много позже, а сейчас я просто оценивал свои шансы на успех и находил их более, чем призрачными, ибо она прямо-таки исходила строгими семейными установками, сформированными южным моральным кодексом, а это была такая стена, через которую было не перепрыгнуть даже самым матерым наездникам, к коим у меня все-таки хватало ума себя не причислять.

— Шекспир не принадлежит к числу моих любимых авторов, — почти соврал я, признавая свое поражение и стараясь не замечать ее торжествующей улыбки.

Мы танцевали под Леннона, и мой закадычный друг Белый Гамлет (альбиносы у армян — большая редкость, и потому это было чем-то вроде его визитной карточки), устроивший вечеринку по поводу своего дня рождения, был невероятно горд, что ухитрился разжиться записями ливерпульской четверки. Они с Анаит были заняты в главных ролях в спектакле народного театра по культовой пьесе того времени «104 страницы

про любовь», и Гамлет — без всякой надежды на успех — пригласил ее, но, как ни странно, она пришла.

И теперь дело двигалось, похоже, к сто пятой странице.

Гамлета я сумел отодвинуть, и тому пришлось сесть к своей Терезе, которая сохла по нему, как герань в обезвоженном горшке. Вне себя от радости, она тотчас же снеслась здравницей. Очередной тост, хоть на мгновение, нас с Анаит и разделил, но не понудил меня отпустить ее руку даже, когда я ухарски осушал бокал. И как только Леннон зазвучал вновь, мы опять были в круге. Она шла за мной охотно, даже позволив взять себя за талию, что было неслыханной смелостью, ибо женская талия в процессе ухаживаний была в ту пору едва ли не такой же запретной зоной, как и грудь.

— Вы хотите меня спросить еще о чем-то? — любопытствовала она, видимо, сочтя мою дерзость сигналом к продолжению дискуссий.

— Да, хочу...

Ни в меру либеральные родители Гамлета, поздравив сына ключами от мотоцикла, сделали ему подарок по тем строгим временам гораздо больший — уехали на выходные к друзьям в Сумгаит. И теперь счастливый именинник выключил весь свет. Компания разошлась по углам, и в комнате остались лишь мы с Анаит.

— О чем же?

— Вас можно поцеловать?

— Разве об этом спрашивают?

Я пытался сообразить, как воспринять эти слова, как поощрение или, напротив, вызов или даже предостережение, и, так и не найдя ответа, пошел по стандартному пути, сперва прикоснулся к ее губам, а потом медленно вобрал их в себя. Но вместо ожидаемых пощечин, которые в ту пору еще из моды не вышли, я чувствовал, что моя ласка не только принята, но и возвращена, и теперь мы жадно целовались, не обращая внимания на пару, которая неожиданно вошла в комнату и начала танцевать рядом.

Потом Анаит чуточку отстранилась, но танцевать мы продолжали, и когда вновь остались в комнате одни, и когда Леннона сменил Высоцкий, записи которого были в таком же дефиците, как и «Битлз», и даже когда стало светать.

Я сказал Анаит, что провожу ее, и она тотчас же согласилась, хотя и пришла с Гамлетом

Бакинские рассветы, когда небо как-то сразу неожиданно приобретает бледно-шафрановые тона, а воздух с едва уловимым зефиром с нефтяных промыслов еще сохраняет прозрачность и свежесть ночи, — рассветы особые. В такие минуты чувствуешь, будто рождаешься заново. Со мной, во всяком случае, так оно и было.

Мы медленно шли улицами еще спящего поселка. Носил он в ту пору имя Степана Разина, поскольку находился у подножья горы с пещерой, где по легенде прятался со своей дружиной знаменитый атаман. Поселок утопал в цветущей сирени, и это почему-то множило мое ухарство, да так, что моя рука непостижимым образом не покидала ее плеча. А уже в «городе» (на языке жителей пригородов «городом» звался сам Баку) я рискнул на улице поцеловать ее вновь. При людях, среди бела дня! Это нарушало уже все местные представления о приличии, и желчный чистильщик обуви, раскладывавший под навесом свои причиндалы, тут же пошел орать, будто сел на бочку со скипидаром:

— Ахчи\*, что делаешь?! Отец увидел бы, убил...

— Это верно сказано, — заметила она.

— Что, очень строгий? — спросил я.

— Не то слово. Уже трех сватов выпроводил.... Даже на репетицию приходил. Потребовал от режиссера убрать сцену с поцелуем, а не то уберет из театра меня.

— А режиссер что?

— Думает...

И помолчав, добавила:

— Если хочешь, чтобы я с тобой ходила, ты должен отцу понравиться. А это трудно.

— А что в нем такого особенного?

— Он чернокнижник, — ответила Анаит также просто, как если бы ее отец был завмагом.

— Что? — Мне показалось, я ослышался.

— Что сказала.... Про него слухи ходят, что он знаниями владеет ...от нечистой.

Для рядового советского студента это было уже слишком.

— Я в это не верю.

---

\* Девушка (арм.)

— Твое дело...

После этих слов в ней что-то изменилось, будто она сама не верила в то, что говорит, и теперь будто стеснялась сказанного, и словно в подтверждение моей догадки, добавила:

— Теперь я пойду одна. Если хочешь меня увидеть, приходи к нам сегодня в семь. Я живу в том дворе, видишь пристройку с черепицей?.. Там...

Дома я залез в энциклопедию и прочел, что чернокнижниками называли любителей магии, у которых от бесов были знания, которые они заносили в свою черную книгу или гримуар. Отсюда и название — «Чернокнижник».

Я был так заинтригован словами Анаит, что не знал, как дожидаться вечера, а, оказавшись в ее дворе, долго не мог найти сообщения с черепицей.

## 2

Это был старый добрый бакинский двор, до предела перегруженный пристройками, надстройками, подвалами, верандами, экерами, балконами, лестницами, над которыми нависали антресоли этажей с неизменными виноградными навесами, и через все эти нагромождения были протянуты веревки с сохнувшим бельем. Тому, кто не знаком с местным укладом, разобраться в этой «грамоте» еще сложнее, чем в китайской. И уж тем более, кого —то найти. Но первую же дверь, в которую я рискнул без всякой надежды постучать, открыла... Анаит.

— Заходи, он ждет тебя, — почему-то шепотом сказала она, а потом уже гораздо громче добавила: -Это Тимур, папа!

Того, что понимается под прихожей, здесь не было, и я сразу же оказался в комнате, до предела заставленной шкафами, набитыми разномастным по ценности антиквариатом, среди которого преобладали статуэтки Будды и индийских божеств. Но больше всего поражало обилие книг. Они были везде, даже на столе и полу, и могло показаться даже, что это не квартира, а отдел библиотеки, хотя такое впечатление сохранялось недолго, поскольку собрание было совершенно бессистемно. Книги, имевшие букинистическую ценность (как без пяти минут филолог, я это сразу же оценил), соседствовали с откровенным ширпотребом социалистического реализма, а огромное

количество подписных и академических зданий со справочниками и подшивками.

Среди этого разномастного выставления, в кресле, вполне достойном диккенсовской лавки древностей, восседал невероятно худой человек с желтоватым, изможденным и аскетичным лицом, свидетельствовавшим скорее о нездоровье, и пронзительными глазами, которые мгновенно проникли в меня, как две рапиры, нанизывая по самую рукоятку. Роста он был ниже среднего, а одет для дома весьма аккуратно и своеобразно — в добротный серый костюм и белую рубашку с черной бабочкой в горошек. В нем было что-то паучье, возможно, этому содействовали непропорционально длинные к туловищу руки с желтоватыми пальцами, на одном из которых поблескивало кольцо с агатом. Разглядывая меня, он шевелил губами, словно бормотал какое-то, известное только ему заклинание. Разглядывал долго, слишком долго, так что мне постепенно стало отчаянно не по себе, и в тот момент, когда я собирался уже уходить сказал, наконец, хриловатым тенорком:

— Садись...

Это не было предложением, это было приказом.

Когда я устроился в скромном кресле напротив, он, продолжая разглядывать меня, похоже, вообще погрузился в медитации, а когда молчание стало уже невыносимым, сказал:

— Меня зовут Тигран Саркисович...Что тебе нужно от моей дочери?

К этому вопросу я был совсем не готов и теперь лихорадочно соображал, как ответить, и, не найдя ничего подходящего, ляпнул первое, что пришло в голову:

— Она мне очень нравится.

Тигран Саркисович не спускал с меня глаз и, казалось, обдумывал очередной вопрос.

— Кто твои родители?

— Отец умер, мать — учительница...

Последовала пауза, и было слышно, как жужжит залетевшая в стакан муха. Анаит сидела на тахте и смиренно не принимала участие в мужском разговоре. Допрос продолжался

— Хай ес?\*

---

\* Ты армянин? (арм)

— Я хотел было ответить расхожей в то время бакинской хохмой — «Че\*, италяно», но вовремя сообразил, что здесь и тем более сейчас подобные шутки более, чем неуместны.

— Нет.

— А кто?

Я решил не лгать.

— Полукровка...

Он поднялся с кресла, и только тогда я обратил внимание на его сутулость, это был почти горб, придававший облику хозяина нечто зловещее. Подойдя к письменному столу, он поднял оловянную статуэтку странного существа, стоявшего на одной ноге, разбросав в разные стороны все свои четыре руки с вывернутыми вверх ладонями, и протянув её в мою сторону, спросил:

— Знаешь, кто это?

— Нет.

— Это Шива, одно из трех верховных индийских божеств в образе бога танца. Если первое божество — Брахма созидатель, то Шива разрушитель...

— Для чего вы мне это говорите? — спросил я.

Но ответить он не успел, ибо в комнату вошла невысокая женщина с ярко выраженными славянскими чертами лица, которые излучали уют и юмор. Она являла собой подчеркнутый контраст хозяину, и я тотчас же сообразил, что это мама Анаит. Увидев меня, она почему-то заморгала, заулыбалась и, наконец, представилась:

— Я — Нонна Владимировна. Да вы не слушайте его. Он любит пугать

— Все меня в могилу сводят, — проворчал в ответ хозяин

— Ты уже собрался помирать Тигран? — полюбопытствовала она.

— Что остается? Дети — это, как бессрочный вклад в сберкассу — получишь лишь после смерти.

— Только непременно предупреди меня, чтобы я успела сшить черное платье.

Слушая их, я понял, что Нонна Владимировна будет скорее моей союзницей. Мужа она воспринимала не без некоторой

\* Нет (арм)

иронии, а это было мне скорее на руку. Позже я убедился, что многочисленные и разноплановые вариации на тему *memento mori* принадлежали к числу любимых мазохистских практик папы Тиграна, однако вместо паники они погружали его супругу в язвительные настроения.

Потом мы обедали. Стол накрывала бабушка Фарик — маленькая, сухонькая и многозначительно молчаливая, показывавшая всем своим видом, что понимает гораздо больше, чем говорит. Одета она была во все черное, что лишний раз подчеркивало ее отстраненность от остальных участников действия, и мне от этого стало почему-то не по себе. На меня она глянула только раз, скорее с неодобрением, но не обмолвилась.

Обмолвился хозяин, который сказал вдруг, не поднимая глаз от тарелки с тановом\*.

— Твоей женой она не будет...

Воцарилась такая тишина, что были слышны шаги во дворе. Анаит покраснела, опустила голову и почему-то шмыгнула носом, я растерялся и не знал, что делать с руками, которые вдруг сами по себе стали дергаться, бабушка Фарик глянула на сына вроде бы даже с поощрением, и лишь Нонна Владимировна сохраняла относительно спокойствие

— Тебе свойственно спешить, Тигран, — заметила она и, улыбаясь, взъерошила мне шевелюру.

А я продолжал ловить на себе его тяжелый взгляд, чувствуя, как по кончикам пальцев моих рук начинает бегать какая-то странная дряблость, будто под кожей засновали мурашки. В тот день мне вообще впервые довелось испытать на себе воздействие этого человека, хотя то, что это было именно воздействие, я имел возможность убедиться гораздо позже. Тем не менее, в ту пору, да и спустя годы я никогда не думал о нем, как о чернокнижнике или колдуне, ибо никогда не видел, чтобы он занимался тем, что определяют слишком уж, на мой взгляд, общим словом «окультизм». Да и вообще наши контакты пришлись на времена воинствующего материализма, когда все, имевшее хотя бы отдаленное отношение к области метафизического, либо вообще не воспринималось, либо воспринималось, как опасное для общества искривление, в том числе и психики. А реагировать на отца Анаит, как на «стукнутого»,

---

\* Армянский суп

было, во-первых, опасно, ибо помимо всего прочего он, как стало ясно позже, был и очень мстителен, что неминуемо повлияло бы на наш роман, а во — вторых, просто несправедливо.

Работал он в строительной организации, увлекался индийской философией, был коллекционером и страстным библиофилом. В то время собирать книги было едва ли не правилом хорошего тона, ибо были они в остром дефиците, и, хотя я не исключаю, что в особо редких изданиях им держались деньги, тем не менее, читал он много и жадно, приучив к этому дочь, чем, кстати, очень гордился и чему я был обязан своим поражением в споре с ней. Что до клейма «чернокнижника», то ему, как мне кажется, он был обязан более, чем колоритной внешности. Это он понимал и старательно подчеркивал, умело сочетая старомодность с гротеском, причем до такой степени, что мне иногда казалось еще немного, и я увижу его с черным вороном на правом плече. Тем не менее, Анаит не раз говорила, что гипнозом отец все — таки владел, и что ей однажды даже довелось видеть, как он подвесил племянника между спинками стульев, которые потом убрал, а парень остался в состоянии каталептического моста. Что до меня, то под влиянием его взгляда я всегда испытывал острое желание выйти на свежий воздух.

Я не случайно говорю о свежем воздухе, поскольку наши общения, хотя и не столь частые, ограничивались замкнутым пространством все той же набитой книгами комнате, где он без конца повторял древнюю, как мир, мудрость-все должно быть так, как должно быть, даже если и будет иначе, и рассуждал об индуизме. Я в индуизме ничего не смыслил и, признаться, интересовался им мало, поэтому мне оставалось смиренно слушать, лишь иногда вставляя случайные замечания, но он отмахивался от них, как от мухи.

Однажды я спросил, почему он назвал дочь Анаит? Он сощурил глаза и ответил вопросом:

— Что вы знаете о шумерах?

— Практически ничего, — честно признался я.

— Это древний народ, живший в Южной Месопотамии.

Шумеры почитали богиню плодородия Анат, и, думаю, что армянское женское имя Анаит имеет шумерский корень. Я хотел, чтобы она хотя бы так восходила к богам.

— Сколько лет вы собираете книги? — спросил я для того, чтобы сменить тему, поскольку не хотел выглядеть невежей.

— всю жизнь. Книги — единственное, что у меня есть.

По существу, это был сибарит, чье любимое занятие состояло в том, чтобы лежать на тахте и под армянский коньяк (другого не признавал) и сигареты «Мальборо» (которые он в ту пору доставал неизвестно где), строить из себя гуру. Я продолжал оставаться смиренным потому как больше всего боялся потерять доступ к Анаит, который заполучил, благодаря оперативному вмешательству и авторитарному воздействию Нонны Владимировны.

Я понимал, что этими беседами он прощупывает меня, ибо все, имевшее отношение к дочери, черно книжником подвергалось суровому контролю, вплоть до народного театра, который ей за злосчастный поцелуй пришлось все-таки покинуть. Дочь была им любима какой-то особой, деспотичной и невероятно ревнивой любовью, где давно укоренившаяся привычка подавлять уживалась с тонким пониманием особенностей ее возраста, а природная нетерпимость каким-то странным образом соседствовала с неожиданными приступами либерализма, когда ей вдруг разрешали ночевать у подруги, чье появление в доме так и не состоялось.

Он был кем-то вроде арбитра среди армянской «фракции» двора и как только раздавались вопли соседской тети Ашхен, которая, распустив волосы, начинала проклинать папу, маму, брата Левона и старшую сестру Гаянэ за то, что позволили ей выйти за кровопивца, в то время, как сам кровопивец сохранял вертикальное положение, только держась обеими руками за тутовник, тяжело вздыхал и, поднявшись с тахты, шел разбираться. «Кровопивца» звали Лензин (Ленин — Зиновьев). Злые языки, правда, поговаривали, что по началу он был Лентрозин (Ленин-Троцкий-Зиновьев). Однако после выдворения Троцкого политически сообразительный папаша сократил имя на треть.

— Тигран — джан, посмотри, эта «суволочь» опять пьяный, — голосила Ашхен.

В такие минуты с черно книжника слетал покров учености, и он возвращался к народу.

— Скажи ему, когда придет, дышать в замочную скважину. Если водкой понесет, не отпирай, пусть во дворе спит.

— А если вдруг и правда, ротом дышать станет?  
— Что, совсем не отличишь? — спрашивал он и возвращался на тахту.

Как и большинство бакинских дворов того времени, где жизнь проходила на свежем воздухе, это был целый микромир с порядками, законами и интригами. Утро начиналось с того, что из окна одного из верхних ярусов высывалась голова в бумажных бигуди:

— Варсеник, ты что, заболела?

Тотчас же открывалось окно нижнего яруса и появлялась голова в таких же бигуди:

— А что?..

— К тебе вчера доктор приходил. Беспокоюсь...

— Пайцар, к тебе два дня назад майор приходил, я ведь не спрашиваю, началась ли война?

Старый пень Сулейман, который с рассвета играл в нарды с другим старым пнем Мкртычем (несмотря на густеющий зной все трое, включая третьего пня Ульяна, наблюдавшего за игрой и ждущего своей очереди, были в кепках — восьмиклинках по тогдашней бакинской моде) любопытствовал:

— Завтра к ним космонавты придут, я что, буду спрашивать, собираются ли они на Марс лететь?

— Ух, ты, ах, ты, все мы космонавты, — задумчиво цитировал Мкртыч, болтая в кулаке кости.

Сулейман работал в прошлом в военкомате и потому у него, единственного во дворе, был телефон, которым пользовался весь этот «мешок». Звонили почти беспрерывно, и Сулейман вместе с женой Шафигой стойчески несли ношу глашатаев, сокрушая попеременно громом и визгом весь двор. Эта чудесная азербайджанская семья почиталась здесь за мажордома и в дворовой табели о рангах вместе с папой Тиграном занимала первые позиции.

Когда, наконец, Ульян дождался своей очереди, Шафига завопила со своего балкона:

— Автандил, начальник звонит, спрашивает, когда на работу придешь?

Автандил (типаж бессмертного товарища Саахова из «Кавказской пленницы», только чуть моложе) посвятивший себя оптовым поставкам овощей и фруктов российскому Нечерно-

земью и рассматривавший почтовое отделение, где ему шли и стаж, и зарплата, работой по совместительству, уже орал из окна своей пристройки снизу:

— Скажи, пусть подождет. У меня еще тридцать ящиков с грушами для Костромы не отправлено...

Как-то я тоже воспользовался этим телефоном, но черно-книжник строго наказал мне впредь этого не делать.

— Мы тут, конечно, как одна семья, но помни, что в семье не без урода, - наставительно пояснил он.

Позже я узнал, что в «уродах» он держал именно Автандила, который уже давно питал нежные чувства к Анаит, однако скорее земля начала бы вращаться с востока на запад, чем страдавшему оптовику было позволено переступить хотя бы на миллиметр за черту, которую для него отвели. (Мкртыч как-то шепнул мне, что в стремлении произвести впечатление Автандил даже удалил передние зубы, чтобы вставить золотые.) А поскольку одно из основных занятий чернокнижника в последние годы вообще состояло в том, чтобы отгонять его от Анаит, то вовсе не исключалась какая-нибудь интрига в ответ на мое появление, а что может быть для этого удобней, чем телефон Сулеймана?

В этих условиях Анаит вела себя, как образцовая армянская дочь, которой в семейной иерархии отводилось строго определенное место, и она блюла его путем полного послушания и незаметного поведения. Я приходил к ней, подробно информировал отца о маршрутах предстоящей прогулки, получал строгую установку вернуть дочь не позже половины одиннадцатого и только после этого получал высокое позволение. Обменявшись приветствиями с половиной соседей, которые почему-то оказывалась именно в данную минуту во дворе, мы выходили за арку, отделявшую эту цивилизацию от остального мира. Шли, по началу, держа дистанцию, будто были на плацу, но чем ближе был Приморский бульвар, тем меньшим становилось расстояние между нами, а когда, наконец, мы оказывались в Нагорном парке, то условности и вовсе прекращали существовать, и Анаит из зажатого существа вдруг превращалась в бойкую языкастую девчонку, любившую целоваться и не чуравшуюся каверз. Но по мере того, как мы приближались к ее дому, она вновь завертывалась в свой кокон, увеличивала дистанцию и отвечала уже односложно. Ровно в половине одиннадцатого я сдавал ее с рук

на руки, при этом чернокнижник многозначительно смотрел на часы и издавал нечто похожее на хмыканье, что, как я понял позже, на его языке означало удивленное удовлетворение.

Нам это ублагоутворение нужно было именно сейчас, притом такое, которое постепенно переходило бы в глубокое и полное: близился Новый год, и мы с Анаит мечтали отметить его вместе, но чтобы получить разрешение, да еще на гулянку ночью, требовалось проявление особой добродетели.

Анаит рассчитывала на все то же прикрытие, поскольку даже мысль о том, что она останется на ночь у мужчины была крамольна и вообще совершенно невозможна. Гулять собирались у того же Белого Гамлета, в чей арсенал приобретенных ремесел и навыков входило и уникальное умение выпроваживать по мере надобности своих предков, а поскольку он планировал организовать образцовый по тем временам бардачок, предки были отправлены загодя и на целую неделю.

Добро чернокнижник — таки дал, правда, с кислой, как любимый им мацони, миной и, насколько я понимаю, под сильным давлением Нонны Владимировны, которая благоволила ко мне все сильнее, показывая символические дули другим претендентам, пользующимся большей благосклонностью супруга.

Праздновали вшестером — сам Гамлет со своей Терезой, мы с Анаит и еще одна пара, отобранная специально для создания видимости приличий. Чернокнижнику было сказано, что отмечать будем у меня. Проходимца, с которым его дочь прилюдно целовалась на репетициях, он давно занес в список персон нон грата, открываемого все тем же Автандилом.

За столом мы сидели не больше полутора часов, и после того, как отзвучали новогоднее представление и Гимн Советского Союза, разошлись по комнатам, прихватив по бутылке вина. Нам с Анаит досталась спальня родителей с «сексодромом», куда мы и повалились, не успев закрыть дверь.

Сорок лет спустя, вспоминая ту ночь, Анаит скажет:

— Я, наверное, стала бы твоей, прояви ты тогда настойчивость.

— Нет-нет, для этого я слишком дорожил тобой...

Может, мои слова нынешней молодежи покажутся странными и даже смешными, но таковы были нравы того времени и того места, той давно ушедшей, порождавшей собственных

идальго цивилизации. Россияне, побывавшие в Баку в командировке, рассказывали в экстазе о тамошней манере выходить из автобусов только через переднюю дверь, бросая пятаки за проезд в кепку водителя. Да, такое было, но был и крепкий нравственный императив в душах мужчин, бросавших в кепун эти пятачки или десять копеек за проезд в «алабаше» — этом чисто бакинском решении проблемы пассажирских перевозок, когда шофер, работавший в транспортном предприятии на закрытом грузовике, использовал его и для доставки людей по маршруту следования.

...Я провожал Анаит в девятом часу утра. Мы возвращались беззаботно, не подозревая о катастрофе

Нас ждали. Они стояли у двери и, судя по выражению их лиц, считали секунды. Чернокнижник был белее мела.

— Подонок, — процедил он мне белыми от бешенства губами. — Ты будешь платить за это всю жизнь! Клянусь тебе. И она тоже платить будет.

— Как вы могли? — вслед за ним хрипела Нонна Владимировна.

— Что... мог? — спросил я, внутренне холодея, потому как Анаит мгновенно исчезла, будто растворившись в родительском бешенстве.

— Чтоб твоей ноги здесь больше не было.

Это было сказано ими почти одновременно.

Дверь еще не успела захлопнуться, а я уже видел торжествующую улыбку, кривившую лицо Автандила. Он стоял у окна своей пристройки и с любопытством наблюдал за скандалом...

\* \* \*

Мне до сих пор неизвестно, как там было на самом деле.

Говорят, под утро задребезжал телефон Сулеймана, и кто-то просил срочно позвать отца Анаит. Сулейман, пробурчал целых два нехороших слова, что было ему совсем несвойственно, но за чернокнижником спустился. Кто звонил и что было сказано, хранилось в тайне, в том числе и от Нонны Владимировны. Знаю лишь, что они вызвали такси и оба бросились к девчонке, у которой Анаит якобы ночевала и, не застав ее дома, безуспешно принялись искать меня. Вернувшись, чернокнижник запустил в жену статуэткой Шивы, обвинив ее в сводничестве

и потворстве, а потом в пароксизме ярости начал бормотать какие-то заклинания. Когда Анаит вернулась, он начал бить ее палкой, после чего за волосы потащил к гинекологу, а потом заключил под домашний арест.

Об этом мне много позже рассказала она сама.

Анаит была скупа в деталях, как, впрочем, во всем, что касалась ее жизни в родительском доме. Однако, судя по всему, этот чудовищный скандал коренным образом изменил ее отношения с отцом, и если раньше в них преобладало безграничное почитание, то теперь ей все чаще хотелось бросить вызов. Обо мне было запрещено даже думать, а на горизонте уже маячил Нерсес из очень армянской семьи. Чернокнижник отобрал его давно, причем из десятка претендентов, и только ждал повода, чтобы зажечь зеленый свет.

Увидев кандидата в женихи, Анаит совсем неожиданно для родителей топнула ногой и на гроши, заработанные пионервожатой в школе, уехала без спроса в Ленинград, поступила в медицинский институт и даже ухитрилась снять койку в большой коммунальной квартире, где ради прибавки к стипендии мыла полы и окна. Узнав об этом, чернокнижник полностью лишил ее материальной поддержки, хотя Нонна Владимировна тайком от мужа временами все-таки подбрасывала ей десятку-другую.

Я пребывал в полном неведении и терзался догадками, несколько раз пытался объясниться с родителями, но дверь не отпирали, и даже спиной чувствовал любопытные глаза соседей. Правда однажды ко мне подошел Автандил и посоветовал не ходить. Я так и не узнал, сделал ли он это по собственной инициативе, либо по чьему-то наущению. Обиднее всего, что предложение исходило именно от него, а не тех же Ашхен или Пайцар, бросавших в мою сторону сочувствующие взгляды. В конце концов, гордость выиграла, и я заставил себя забыть дорогу сюда, без конца повторяя, что ничего дурного по отношению к Анаит мною не совершено, а случившееся между нами в ту злополучную ночь было настолько невинно, что вряд ли вообще заслуживало родительского гнева, тем более такого. Потом решил, что, скорее всего, в соответствии с тогдашними порядками ее куда — то сослали, и это меня почему-то даже успокоило.

А спустя год уехал и я.

## Глава 2

Утром мне позвонил сын и сказал, что будет вечером и не один. Я знал, о ком речь, и восторга не выразил. У него полгода уже продолжался роман с разведенной особой на три года старше и с ребенком, а неделю назад он известил меня о своем намерении жениться, после чего мне пришлось вызывать скорую помощь.

Его мать, которая была осчастливлена новостью на неделю раньше, грозила самоубийством, и это было вполне в ее стиле, ибо всякий раз, когда наше чадо устраивало экспромт по женской части, она клялась наложить на себя руки, а мне оставалось лишь сожалеть, что слово в очередной раз не сдержано. Сегодня она даже снизошла до звонка, полюбопытствовав, почему я ничего не предпринимаю? В последний раз я слышал ее голос лет, кажется, пять или шесть лет назад и был так удивлен, что вместо того, чтобы бросить трубку поинтересовался и вроде бы даже вежливо:

— А почему я должен что-то предпринимать?

Поскольку в завершающий год нашей совместной жизни я уже не мог разговаривать с ней как воспитанные люди, она была удивлена не менее, чем я ей, и потому сразу же спустила с тормозов:

— Тебя не волнует, что твой сын собирается жениться на какой-то черемухе?

— Мы говорим меньше минуты, а у меня уже начинается мигрень, — пожаловался я.

— Чтоб ты сдох! — зарычала она и бросила трубку, но только для того, чтобы через минуту позвонить снова и продолжить фонтан.

— Если ты полагаешь, что я намерена сидеть, сложа руки, и наблюдать, как погибает мой единственный сын, то глубоко заблуждаешься.

— Кажется, именно это сказала тебе мать твоего третьего любовника, когда застала вас за чтением Кама Сутры.

— Нет, ты, видимо, никогда не сдохнешь! — завопила она и бросила трубку, к моему бесконечному облегчению уже окончательно.

Валерка объявился, как и обещал, — к новостям НТВ. Он довольно причудливо заимствовал родительские черты и был очень не типичен, особенно благодаря великоватому армянскому носу, обретенному у папы, и пронзительно голубым глазам, унаследованным от мамы. Неясно было, правда, в кого он такой бледнолицый, поскольку его мамаша белой, аки алебастр не была тоже. Учился он (а правильнее было бы сказать, создавал видимость учебы) на архитектора и имел наивность полагать, что я это воспринимаю всерьез.

— Мать в истерике, батя!

(Сто раз просил его не называть меня «батей». Как об стенку горох!)

— Это ее естественное состояние, — уклончиво заметил я.

— Завтра мы собираемся прийти к ней втроем.

— Кто третий?

— Ее дочь...

— А обо мне подумали? — заорал я. — Твоя мать уже звонила мне сегодня...

— Да? — искренне удивился он.

— После ее звонка я принимал «Капоприл». Можно представить, что мне грозит после того, как вы явитесь к ней всей компанией.

— Между прочим, Аглая — беременна, — сказал он и, видя, что я уже начинаю оседать, предпринял попытку успокоить: — От меня...

Когда явилась Аглая, я уже лежал на кушетке, а Валерка бежал вокруг, размахивая полотенцем. Я смотрел на избранницу и пытался понять, что в ней нашел мой сын — очень уж замухрышиста, казалось бы, воплощение гладильной доски с антеннами рук и ног плюс пакля неухоженных волос неопределенной масти.

Впрочем, похвастаться, что я всегда понимал молодежь, не могу.

— Тимур Иванович, — сразу же приступила к делу Аглая. — Почему вы против, чтобы я вышла замуж за Валеру?

— Потому что ему еще целый год учиться, и он не в состоянии содержать семью из трех человек, — почти умирающим голосом промямлил я.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)